**И. А. Бродский**

**Einem alten Architekten in Rom («Старому архитектору в Рим»)**  
      I

      В коляску -- если только тень  
      действительно способна сесть в коляску  
      (особенно в такой дождливый день),  
      и если призрак переносит тряску,  
      и если лошадь упряжи не рвет --  
      в коляску, под зонтом, без верха,  
      мы молча взгромоздимся и вперед  
      покатим по кварталам Кенигсберга.

      II

      Дождь щиплет камни, листья, край волны.  
      Дразня язык, бормочет речка смутно,  
      чьи рыбки навсегда оглушены,  
      с перил моста взирают вниз, как будто  
      заброшены сюда взрывной волной  
      (хоть сам прилив не оставлял отметки).  
      Блестит кольчугой голавель стальной.  
      Деревья что-то шепчут по-немецки.

      III

      Вручи вознице свой сверхзоркий Цейс.  
      Пускай он вбок свернет с трамвайных рельс.  
      Ужель и он не слышит сзади звона?  
      Трамвай бежит в свой миллионный рейс,  
      трезвонит громко и, в момент обгона,  
      перекрывает звонкий стук подков!  
      И, наклонясь -- как в зеркало -- с холмов  
      развалины глядят в окно вагона.

      IV

      Трепещут робко лепестки травы.  
      Атланты, нимбы, голубки', голу'бки,  
      аканты, нимфы, купидоны, львы  
      смущенно прячут за собой обрубки.  
      Не пожелал бы сам Нарцисс иной  
      зеркальной глади за бегущей рамой,  
      где пассажиры собрались стеной,  
      рискнувши стать на время амальгамой.

      V

      Час ранний. Сумрак. Тянет пар с реки.  
      Вкруг урны пляшут на ветру окурки.  
      И юный археолог черепки  
      ссыпает в капюшон пятнистой куртки.  
      Дождь моросит. Не разжимая уст,  
      среди равнин, припорошенных щебнем,  
      среди руин больших на скромный бюст  
      Суворова ты смотришь со смущеньем.

      VI

      Пир... пир бомбардировщиков утих.  
      С порталов март смывает хлопья сажи.  
      То тут, то там торчат хвосты шутих,  
      стоят, навек окаменев, плюмажи.  
      И если здесь поковырять (по мне,  
      разбитый дом, как сеновал в иголках),  
      то можно счастье отыскать вполне  
      под четвертичной пеленой осколков.

      VII

      Клен выпускает первый клейкий лист.  
      В соборе слышен пилорамы свист.  
      И кашляют грачи в пустынном парке.  
      Скамейки мокнут. И во все глаза  
      из-за ограды смотрит вдаль коза,  
      где зелень распустилась на фольварке.

      VIII

      Весна глядит сквозь окна на себя  
      и узнает себя, конечно, сразу.  
      И зреньем наделяет тут судьба  
      все то, что недоступно глазу.  
      И жизнь бушует с двух сторон стены,  
      лишенная лица и черт гранита;  
      глядит вперед, поскольку нет спины.  
      Хотя теней в кустах битком набито.

      IX

      Но если ты не призрак, если ты  
      живая плоть, возьми урок с натуры  
      и, срисовав такой пейзаж в листы,  
      своей душе ищи другой структуры.  
      Отбрось кирпич, отбрось цемент, гранит,  
      разбитый в прах -- и кем! -- винтом крылатым,  
      на первый раз придав ей тот же вид,  
      каким сейчас ты помнишь школьный атом.

      X

      И пусть теперь меж чувств твоих провал  
      начнет зиять. И пусть за грустью томной  
      бушует страх и, скажем, злобный вал.  
      Спасти сердца и стены в век атомный,  
      когда скала -- и та дрожит, как жердь,  
      возможно лишь скрепив их той же силой  
      и связью той, какой грозит им смерть.  
      И вздрогнешь ты, расслышав возглас: "милый!"

      XI

      Сравни с собой или примерь на глаз  
      любовь и страсть и -- через боль -- истому.  
      Так астронавт, пока летит на Марс,  
      захочет ближе оказаться к дому.  
      Но ласка та, что далека от рук,  
      стреляет в мозг, когда от верст опешишь,  
      проворней уст: ведь небосвод разлук  
      несокрушимей потолков убежищ.

      XII

      Чик, чик-чирик, чик-чик -- посмотришь вверх  
      и в силу грусти, а верней, привычки  
      увидишь в тонких прутьях Кенигсберг.  
      А почему б не называться птичке  
      Кавказом, Римом, Кенигсбергом, а?  
      Когда вокруг -- лишь кирпичи и щебень,  
      предметов нет, и только есть слова.  
      Но нету уст. И раздается щебет.

      XIII

      И ты простишь нескладность слов моих.  
      Сейчас от них один скворец в ущербе.  
      Но он нагонит: чик, Ich liebe dich!  
      И, может быть, опередит: Ich sterbe!  
      Блокнот и Цейс в большую сумку спрячь.  
      Сухой спиной поворотись к флюгарке  
      и зонт сложи, как будто крылья -- грач.  
      И только ручка выдаст хвост пулярки.

      XIV

      Постромки -- в клочья... лошадь где?.. Подков  
      не слышен стук... Петляя там, в руинах,  
      коляска катит меж пустых холмов...  
      Съезжает с них куда-то вниз... две длинных  
      шлеи за ней... И вот -- в песке следы  
      больших колес. Шуршат кусты в засаде...

      XV

      И море, гребни чьи несут черты  
      того пейзажа, что остался сзади,  
      бежит навстречу. И как будто весть,  
      благую весть, сюда, к земной границе,  
      влечет валы. И это сходство здесь  
      уничтожает в них, лаская спицы.

      ноябрь -- декабрь 1964

**Отрывок**

В ганзейской гостинице «Якорь»,

где мухи садятся на сахар,

где боком в канале глубоком

эсминцы плывут мимо окон,

я сиживал в обществе кружки,

глазея на мачты и пушки

и совесть свою от укора

спасая бутылкой Кагора.

Музыка гремела на танцах,

солдаты всходили на транспорт,

сгибая суконные бедра.

Маяк им подмигивал бодро.

И часто до боли в затылке

о сходстве его и бутылки

я думал, лишенный режимом

знакомства с его содержимым.

В восточную Пруссию въехав,

твой образ, в приспущенных веках,

из наших балтических топей

я ввез контрабандой, как опий.

И вечером, с миной печальной,

спускался я к стенке причальной

в компании мыслей проворных,

и ты выступала на волнах...

Май 1964

**Открытка из города К.**

***Томасу Венцлова***

Развалины есть праздник кислорода

и времени. Новейший Архимед

прибавить мог бы к старому закону,

что тело, помещенное в пространство,

пространством вытесняется.

Вода

дробит в зерцале пасмурном руины

Дворца Курфюрста; и, небось, теперь

пророчествам реки он больше внемлет,

чем в те самоуверенные дни,

когда курфюрст его отгрохал.

Кто-то

среди развалин бродит, вороша

листву запрошлогоднюю. То - ветер,

как блудный сын, вернулся в отчий дом

и сразу получил все письма.

1967

**А.А. Вознесенский**

**Северная магнолия**

Не помню — Рим или Монголия?

Века замедлились,

пока

мне девушка цветок магнолии

вдевала в лацкан пиджака.

Я игнорировал магнолию,

к душе привитый черенок.

К чему гадать: «Что быть могло ли бы?»

Перечеркните черновик!

Мы — эхо русской меланхолии

в нас страшный фитилёк горит.

Рояль, как профиль мейерхольдовский

незабываемо раскрыт.

Отцвёл пиджак. Столетье бренное

ушло. Калининград не тот.

Я сам сгорел как удобрение.

Но магнолия цветёт.

2001

**Владимир Маяковский**

***Москва — Кенигсберг***

Проезжие — прохожих реже.  
Еще храпит Москва деляг.  
Тверскую  
жрет,  
Тверскую режет  
сорокасильный «Каделяк».  
Обмахнуло  
радиатор  
горизонта веером.  
— Eins!  
zwei!  
drei! —  
Мотора гром.  
В небо дверью —  
аэродром.  
Брик.  
Механик.  
Ньюбо́льд.  
Пилот.  
Вещи.  
Всем по пять кило.  
Влезли пятеро.  
Земля попятилась.  
Разбежались дорожки —  
ящеры.  
Ходынка  
накрылась скатертцей.  
Красноармейцы,  
Ходынкой стоящие,  
стоя ж —  
назад катятся.  
Небо —  
не ты ль?..  
Звезды —  
не вы ль это?!  
Мимо звезды́  
(нельзя без виз)!  
Навылет небу,  
всему навылет,  
пали́ —  
земной  
отлетающий низ!Развернулось солнечное  
это.И пошли  
часы  
необычайниться.  
Города́,  
светящиеся  
в облачных просветах.  
Птица  
догоняет,  
не догнала —  
тянется…  
Ямы воздуха.  
С размаха ухаем.  
Рядом молния.  
Сощурился Ньюбо́льд  
Гром мотора.  
В ухе  
и над ухом.  
Но не раздраженье.  
Не боль.  
Сердце,  
чаще!  
Мотору вторь.  
Слились сладчайше  
я  
и мотор:  
«Крылья Икар  
в скалы низверг,  
чтоб воздух-река  
тек в Кенигсберг.  
От чертежных дел  
седел Леонардо,  
чтоб я  
летел,  
куда мне надо.  
Калечился Уточкин,  
чтоб близко-близко,  
от солнца на чуточку,  
парить над Двинском.  
Рекорд в рекорд  
вбивал Горро́,  
чтобы я  
вот —  
этой тучей-горой.  
Коптел  
над «Гномом»  
Юнкерс  
и Дукс,  
чтоб спорил  
с громом  
моторов стук».  
Что же —  
для того  
конец крылам Ика́риным,  
человечество  
затем  
трудом заводов никло, —  
чтобы этакий  
Владимир Маяковский,  
барином,  
Кенигсбергами  
распархивался  
на каникулы?!  
Чтобы этакой  
бесхвостой  
и бескрылой курице  
меж подушками  
усесться куце?!  
Чтоб кидать,  
и не выглядывая из гондолы,  
кожуру  
колбасную —  
на города и долы?!.  
Нет!  
Вылазьте из гондолы, плечи!  
100 зрачков  
глазейте в каждый глаз!  
Завтрашнее,  
послезавтрашнее человечество,  
мой  
неодолимый  
стальнорукий класс, —  
я  
благодарю тебя  
за то,  
что ты  
в полетах  
и меня,  
слабейшего,  
вковал своим звеном.  
Возлагаю  
на тебя —  
земля труда и пота —  
горизонта  
огненный венок.  
Мы взлетели,  
но еще — не слишком.  
Если надо  
к Марсам  
дуги выгнуть —  
сделай милость,  
дай  
отдать  
мою жизнишку.  
Хочешь,  
вниз  
с трех тысяч метров  
прыгну?!

1923